

Пацифисты, воинствующие интеллектуалы и Просвещение в XVIII–XXI веках

DOI: 10.53953/08696365_2026_199_3_320

Berger D. Polemische Aufklärung: Thomas Abbt und die polemische Konstitution der bürgerlich-literarischen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert.

Berlin; Boston: De Gruyter, 2025. — XII, 489 S. — (Frühe Neuzeit: Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext; Bd. 265).

Gelker N. Schriftstellerinnen und Schriftsteller als literarische Figuren (1750–1850).

Berlin; Boston: De Gruyter, 2025. — XIV, 376 S. — (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte; Bd. 106 (340)).

Еще в 1983 г. П. Слотердаjk, полемизируя с концепцией публичной сферы XVIII в. Ю. Хабермаса¹, задавался вопросом: «Какими средствами силового воздействия на сознание противника располагает Просвещение?»² Он тут же оговаривался, что, возможно, ставить такого рода вопрос некорректно, «ведь Просвещение по самой сути своей предполагает свободное согласие»³. Считается, что «оно представляет собой такое “учение”, которое отнюдь не желает прибегать к нажиму, добиваясь своего утверждения. Разум — один его полюс, а другой полюс — свободный диалог людей, стремящихся к Разуму»⁴. В действительности же, по мнению Слотердаjка, дело обстояло совсем иначе:

При конфронтации Просвещения с ранее возникшими установками сознания речь шла вовсе не об истине, а о чем-то совершенно ином: о властных позициях, о классовых интересах, о непоколебимых точках зрения школ, об устремлениях и желаниях, о страстях и защите «идентичностей», о борьбе за сохранение существующего положения. Эти заданные условия столь сильно изменяют форму просветительского диалога, что было бы более уместно вести речь о войне сознаний, чем о мирной беседе⁵.

В этой войне противники ведут борьбу на уничтожение, при этом, отмечает Слотердаjk, сторонники Просвещения отличаются все большей жестокостью, которую оправдывают тем, что это ответ на жестокость критикуемых ими порядков, на бесчеловечность защитников старого положения вещей. Если противник не сдается, не принимает определяемые просветителями условия диалога, к нему приме-

-
- 1 См.: Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы / Пер. с нем. В.В. Иванова. М.: Весь мир, 2016.
 - 2 Слотердаjk П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева. Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ, 2009. С. 43.
 - 3 Там же.
 - 4 Там же.
 - 5 Там же. С. 44–45.

няются методы хирургии: сознание пациента вскрывается скальпелем критики, чтобы после дезинфекции провести нужную операцию. Развивая медицинскую метафору, Слотердайк писал:

В критике идеологии дело заключается уже не в том, чтобы перетянуть подвергнутого вивисекции противника на свою сторону; интерес представляет его «труп», его критически препарированные идеи, которые отныне хранятся в библиотеках просветителей и по которым без всякого труда можно увидеть, насколько они ложны. Совершенно ясно, что никакого сближения с противником при этом не происходит⁶.

В том же году, когда появилась «Критика цинического разума» Слотердайка, в Западной Германии началось вызвавшее широкие протесты развертывание американских ракет «Першинг-2»: на смену политике разрядки 1970-х пришел новый виток конфронтации и гонки вооружений. В этой ситуации Слотердайк попытался показать, в какой мере сама просвещенная критика милитаризма (и апеллирующая к ней критическая теория Франкфуртской школы) может воспроизводить логику военной конфронтации и наращивания вооружений. Можно сказать, что до сих пор обучение студентов многих гуманитарных специальностей, где учат применять по противнику Адорно, Барта, Фуко, да и того же Хабермаса, по сути является разновидностью военной подготовки, обучения средствам наиболее эффективного поражения врага. Возможна ли иная, в основе своей пацифистская логика критических исследований? Можно ли выйти за рамки логики критической «гонки вооружений»?

Авторы целого ряда исследований последних лет возвращаются к обозначенной Слотердайком проблематике насильственности и недиалогичности Просвещения. Так, в изданной недавно в русском переводе книге А. Энгберг-Педерсена показывается, как концепции Г.В. Лейбница, А.Г. Баумгартена, И. Канта оказались созвучны размышлениям военных стратегов и способствовали совершенствованию методов ведения войны⁷. В книге Н. Ганбари «Патронаж и немецкая литература в XVIII в.» подчеркивается, что популярная со времен «Трансформации публичной сферы» Хабермаса «парадигма диалога», оказывающая влияние не только на концепции филологов, но даже на принципы издания ими источников, особенно эпистолярных, привела к недооценке того, в какой мере все еще значимыми в те времена оставались отношения патронажа, подразумеваемые ими асимметричные, недиалогичные формы коммуникации⁸.

Тактическому использованию непонимания и враждебности, их связи с институциональными формами производства знания посвящены и книги, о которых

6 Там же. С. 50.

7 Энгберг-Педерсен А. Эстетика войны: как война превратилась в вид искусства / Пер. с англ. Н. Проценко. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Не только эстетическая теория влияла на военное искусство, но и наоборот, интеллектуальные дискуссии эпохи Просвещения нередко велись по правилам военной стратегии: *Lach R. Der Weltweise im Krieg. Mendelssohn belliköser Patriotismus in den Literaturbriefen* // *Lessing Yearbook*. 2010/2011. Vol. 39. P. 129–141; *Rose D. Lessings Krieg: Zum publizistischen und polemikgeschichtlichen Ort der «Literaturbriefe» (1759–1765)* // *Krieg und Frieden im 18. Jahrhundert, Kulturgeschichtliche Studien* / Hg. von S. Stockhorst. Hannover: Wehrhahn, 2015. S. 93–111.

8 Ghanbari N. Patronage und deutsche Literatur im 18. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein, 2024. S. 10. Рецензию на эту книгу см. в этом номере в рубрике «Новые книги». — Прим. ред.

пойдет речь ниже: «Полемическое Просвещение: Т. Аббт и конституирование посредством полемики буржуазной литературной публичной сферы в XVIII в.» Н. Бергера и «Писательницы и писатели как литературные фигуры (1750–1850)» Н. Гелькера.



Бергер рассматривает Просвещение как продукт полемических практик, то есть не просто споров, а агрессивных выступлений, направленных на сокрушение противника. Вообще спорам и полемикам в литературоведении в последние годы уделялось немало внимания⁹, что отчасти было связано с общеполитическими и философскими дискуссиями о роли конфронтации в демократическом обществе¹⁰. В исследованиях, специально посвященных XVIII в., происходил отход от представлений о преобладающем стремлении интеллектуалов того времени к консенсусу¹¹ — в качестве ключевых для формирования публичной сферы стали рассматриваться именно полемические практики. Так, еще в конце 1990-х гг. М. Гирл обратил

внимание, насколько полемика вокруг пиетизма около 1700 г. способствовала складыванию общественной среды, сделавшей возможной просветительские практики ведения споров¹². Позднее, в 2000-е гг., значение споров для культуры Просвещения исследовалось в рамках большого проекта в Берлинском университете им. В. фон Гумбольдта под руководством К. Шпёрхазе и К. Бремера¹³.

В книге Бергера история полемических практик рассматривается через интеллектуальную биографию Т. Аббта, одного из ключевых деятелей прусского Просвещения. Наряду с Г.Э. Лессингом и М. Мендельсоном он был одним из основных авторов рецензий для издаваемых К.Ф. Николаи в Берлине «Писем о новейшей

- 9 См., в частности: *Мост Г.У.* Век столкновений: как немецкие антиковеды XIX столетия упорядочивали свои дебаты / Пер. с англ. С. Силаковой // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 17–27; *Rose D.* Polemische Moderne: Stationen einer literarischen Kommunikationsform vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Göttingen: Wallstein, 2020; *Polemische Öffentlichkeiten: Zur Geschichte und Gegenwart von Meinungskämpfen in Literatur, Medien und Politik* / Hg. von E. Dubbels, J. Fohrmann, A. Schütte. Bielefeld: transcript, 2021.
- 10 См.: *Рансьер Ж.* Несогласие: Политика и философия / Пер. с франц. В. Лапицкого. СПб.: Machina, 2013; *Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985; *Mouffe C.* On the Political. London; New York: Routledge, 2005.
- 11 В 1980-е гг. Г. Остерле противопоставлял склонное к консенсусу Просвещение и одержимый жаждой полемики романтизм: *Osterle G.* Das «Unmanierliche» der Streitschrift: Zum Verhältnis von Polemik und Kritik in Aufklärung und Romantik // Formen und Formgeschichten des Streitens. Der Literaturstreit / Hg. von F.J. Worstbrock, H. Koopmann. Tübingen: Niemeyer, 1986. S. 107–120.
- 12 *Gierl M.* Pietismus und Aufklärung. Theologische Polemik und die Kommunikationsreform der Wissenschaft am Ende des 17. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997.
- 13 См.: *Шпёрхазе К.* История науки как история конфликтов (на примере дискуссий в теории литературы) / Пер. с нем. К. Бандуровского // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 9–16; *Gelehrte Polemik: Intellektuelle Konfliktverschärfungen um 1700* / Hg. von K. Bremer, C. Spöerhase. Frankfurt a.M.: Klostermann, 2011; «Theologische-polemisch-poetische Sachen»: Gelehrte Polemik im 18. Jahrhundert. / Hg. von K. Bremer, C. Spöerhase. Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015.

литературе», определял лицо журнала. В написанной И.Г. Гердером посмертной биографии Аббта отмечалась его особая роль в формировании культуры публичных дискуссий. По словам Бергера, тексты Аббта имели большое значение для выработки немецкого полемического языка и его политизации. Во многом благодаря Аббту в преимущественно абсолютистской Германии третьей четверти XVIII в. появляется чувствительная к языку, научно информированная и обладающая этическим самосознанием буржуазная публика. Исследуя споры, в которых участвовал Аббт, Бергер стремится понять, как происходит нарастание интенсивности дискуссий, изменение их функций и их политизация и, наконец, поскольку Аббт был учеником А.Г. Баумгартена, какую роль играли споры в возрастающей автономизации искусства в это время.

Бергер отмечает, что до сих пор в литературоведении теоретические подходы к изучению полемик не были достаточно разработаны, — этот вид споров не отделяется четко от критики или травли. В расхожем понимании полемика ассоциируется с эмоциональностью, агрессивностью, переходом на личности, преувеличениями, в общем, выглядит как не вполне легитимная практика коммуникации. Бергер отмечает, что все это вовсе не обязательно характеризует именно полемику. Он определяет ее более узко — как искусство дискурсивного ведения войны (с. 42) с целью социального ослабления противоположной стороны, уничтожения объекта полемики, дифференциации публики на сторонников и противников. Таким образом, полемика — это не спонтанный взрыв негодования, а функциональная практика утверждения своего доминирования в публичной сфере, при этом ее ситуативные и исторические отличительные черты могут сильно варьироваться¹⁴. От простых нападков и оскорблений полемику отличает рациональность. Еще одно (наряду с функциональностью и рациональностью) отличие — эстетичность, намеренное использование различных риторических и нарративных приемов. Полемика, кроме того, стремится быть продуктивной, причем как в эпистемическом и социально-политическом планах (создание собственной публики, в том числе воображаемой), так и, опять же, в эстетическом — в утверждении своих нарративных приемов в качестве нормативных. Наконец, полемика отличается недIALOGичностью.

Автор книги отмечает, что отношение к публичной риторике как к разновидности ведения боевых действий утверждается еще в эпоху барокко, и самым показательным примером здесь может быть «Карманный оракул» (1647) Б. Грасиана, где даются советы, как действовать скрытно, умело уклоняться от столкновений или захватывать инициативу, нападая первым. Примечательно, что и появление вышеупомянутых «Писем о новейшей литературе» было связано с военным контекстом. В первом номере журнала говорилось о некоем прусском офицере, кото-

14 При этом, отмечает Бергер, иногда критикой может называться то, что по сути является полемикой, как у К. Маркса: «В борьбе с ними критика является не страстью разума, она — разум страсти. Она — не анатомический нож, она — оружие. Её объект есть ее враг, которого она хочет не ниспровергнуть, а уничтожить» (*Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение* // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 1. С. 416). Маркс следовал молодому Гегелю: «Если сама критика хочет утвердить одностороннюю точку зрения против других столь же односторонних, то она есть полемика и пристрастное дело одной из партий; вместе с тем и истинная философия, выступая против не-философии, не в состоянии избежать внешнего облика полемики» (*Гегель Г.В.Ф. О сущности философской критики вообще и ее отношении к современному состоянию философии в частности* / Пер. с нем. Ю. Мирского // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, 1971. Т. 1. С. 283).

рый был ранен в сражении с русскими при Цорндорфе (1758): чтобы он не скучал в госпитале, друзья стали писать ему о литературных новинках, и эта переписка теперь попала в руки издателя¹⁵.

Основой для сближения Николаи и Аббта стал написанный последним, опять же в контексте Семилетней войны (1756–1763), трактат «О смерти за Родину» (1761), где предлагалась концепция светской гражданской этики. Аббт считал, что душевная свобода достижима через равновесие различных устремлений, при этом глубокая и искренняя любовь к Родине — это то, что позволяет преодолеть страх смерти. В связи с этим Аббт настаивал на важности аффективной привязанности гражданина к государству, которое не может быть основано лишь на рациональном понимании долга. В духе баумгартеновской эстетики Аббт критиковал не только философский рационализм, но и лютеранскую ортодоксию за нереалистическое понимание человеческой природы, отказ признать доминирование чувств над разумом. Необходимо признать человека таким, какой он есть, и только тогда можно требовать от него проявления добродетелей. Стоическое или христианское подавление чувств вредно, поскольку подрывает то, на чем прежде всего основывается патриотизм.

Аббт при этом, отмечает Бергер, не отрицал христианство и не проповедовал атеизм, а скорее пытался по-новому определить соотношение религиозного и профанного, что особенно хорошо видно по его полемике с К.Ф. фон Мозером в «Письмах...» июля — августа 1761 г., когда Аббт сменил Лессинга в качестве основного сотрудника Николаи и Мендельсона. Для Аббта было неприемлемо утверждение Мозера, что политические добродетели не могут быть чем-то иным, чем добродетели христианские, которые в своем широком применении несут благо обществу и государству. Для Аббта это было проявлением антипрусского по сути, догматического пиетизма с его абстрактным понятием добра, в то время как нужно исходить из более земного и конкретного понятия общего блага. Важно не то, что кажется более приемлемым и выгодным отдельному человеку, а то, что в данный момент будет хорошо для общества и государства. Так, умереть для отдельного человека — плохо, но это будет благом, если служит поддержанию целого, спасению своей страны, и именно этим нужно руководствоваться. Таким образом, Аббт выходил также за рамки утилитарного и договорного понятия морали, утверждавшегося Гоббсом и Локком.

Бергер обращает внимание, что нарочитый прусский патриотизм Аббта, учившегося в прусском университете Галле, а затем преподававшего в прусском же университете Франкфурта-на-Одере, но являвшегося уроженцем южнонемецкого вольного имперского города Ульм, имел во многом тактическую природу. Подобно Николаи и Мендельсону, Аббт рассматривал патриотический милитаризм как возможность защититься от цензурных ограничений в опасной полемике на два фронта — против пиетистов и ортодоксальных лютеран.

Аббт критиковал и академическую философию своего времени за слишком отвлеченные от практической деятельности теоретизирования. Еще в 1759 г. он написал статью «Размышления об устройстве первых уроков молодого человека из хорошей семьи», где богословскому представлению о предназначении человека противопоставлялось индивидуальное стремление к автономии и счастью. Аббт настаивал на важности практической направленности обучения, отказа от теоретического затуманивания. В этом плане он выступал против популярных в то время теорий Лейбница, Вольфа, Тетенса, но также и во многом против Мендельсона, на-

15 Прототипом офицера мог быть друг Николаи поэт Э. фон Клейст, умерший от ран после сражения при Кунерсдорфе в 1759 г.

стаивавшего на сохраняющейся значимости метафизики. Поэтому в период сотрудничества с «Письмами...», будучи заинтересованным в хороших отношениях с Мендельсоном, Аббт смягчает критику метафизики и религии. Он признает, что из абстрактных представлений об общем благе обычному человеку трудно вывести правила для ежедневного поведения, и потому все-таки необходима вера. Отсылая к некоему высшему существу, вера обеспечивает необходимый моральным правилам авторитет, эмоциональный трепет перед тем, что исходит от высшего существа. Вера позволяет нам действовать даже тогда, когда мы не можем вполне отрефлексировать основания наших решений.

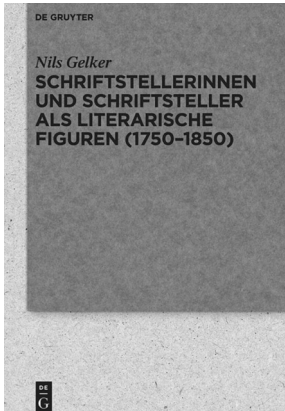
Зависимость от альянса с Мендельсоном и прусской политической повестки ослабнет, когда Аббт станет профессором в университете Рингельна, в самостоятельном графстве Шаумбург-Липпе. Аббт позволит себе больше критиковать метафизику, что видно из его отзывов на книгу прусского статистика И.П. Зюсмилха «Божественный порядок в переменах человеческого рода», опубликованных в «Письмах...» с июля по август 1762 г. Аббт утверждает, что попытки Зюсмилха при помощи данных по рождаемости и смертности выявить некий предустановленный божественный порядок несостоятельны. Единственное, для чего полезны такие исследования, — это выработка государственной политики по регулированию численности населения в интересах общего блага. Кроме того, в размышлениях о книге Зюсмилха Аббт подчеркивал разрыв между моральным и политическим: в силу ограниченности своего существования мы не способны постичь своего божественного предназначения, вывести из этого моральные правила, но все же вполне способны сознательно действовать так, чтобы это было выгодно для государства. Ключевые вопросы должны решаться политической философией, а не богословием. Нужно учить людей мыслить так, чтобы это было выгодно для страны. При этом особое значение приобретает эстетическое воспитание, поскольку оно соотносит формы мышления с чувственной сферой.

Бергер отмечает, что вопрос о предназначении человека был для Аббта не только концептуально-академическим. В личных письмах этого времени Аббт выражает тоску от унылой жизни ученого в немецкой провинции, от монотонности преподавания, бездарности студентов, педантизма коллег-правоведов и богословов. Ему хочется больше живого общения и настоящей практической деятельности, что в итоге и побудит Аббта незадолго до преждевременной смерти принять должность придворного советника в Шаумбург-Липпе.

При этом как раз бодрая полемика, чувствовал Аббт, оздоравливает, защищает от внешних обессиливающих воздействий. Как отмечает Бергер, Аббт в духе эстетической теории Баумгартена мыслит полемику как род чувственно-рационального искусства. Если для Мендельсона телесное все еще имело подчиненное значение для поддержания рационального, то у Аббта эти две составляющие человека равны. Физические аспекты существования не унижают человека, если мы перестаем рассматривать его с богословско-метафизической точки зрения. В этом плане показателен ответ Аббта на биографию Баумгартена, написанную учеником последнего, Г.Ф. Мейером. Немецкоязычные сочинения Мейера имели ключевое значение для рецепции в Германии философии Баумгартена, который сам писал на довольно темной, изобилующей неологизмами латыни. Опубликованная в 1763 г. биография имела целью канонизировать учителя, одновременно подчеркнув его религиозность. Статья же Аббта «Жизнь и характер Александра Готлиба Баумгартена» (1763) была призвана, наоборот, представить психологическую биографию ученого, в которой жизнь и теоретические труды были тесно переплетены. События из жизни учителя и коллеги оказываются для Аббта значимыми в посюстороннем смысле — когда они вызывают развитие новых душевных сил.

Впрочем, отмечает Бергер, и в Рингеланде Аббт дистанцировался от радикальной критики метафизики в духе К.А. Клотца и его лейпцигского кружка. В письмах Мендельсону он отмечал, что важно не столько изгнать метафизические понятия, сколько понять их настоящее значение и научиться ими пользоваться. Отношение к метафизике должно быть прагматическим, а не догматическим.

Проследивая эти и другие перипетии интеллектуальной биографии Аббта, Бергер показывает, как прагматичность его теории способствовала выработке и теоретической легитимации тактического понимания полемики, которая руководствуется посюсторонними представлениями о должном, а не абстрактными, вневременными построениями. Впрочем, отмечает Бергер, сам Аббт порой вел себя чересчур доктринально, например, когда в условиях острого конфликта И.Б. Базедова с гамбургскими пиетистами предлагал Мендельсону опубликовать антирелигиозную сатиру, притом что к этому времени политическое давление на берлинский кружок Николаи усилилось. Особенно Мендельсону как иудею публикация антихристианского памфлета грозила тяжелыми последствиями. Аббт, настаивая на публикации, как будто не понимал этого.



Книга Н. Гелькера «Писательницы и писатели как литературные фигуры (1750–1850)» посвящена другому аспекту литературных полемик — конструированию фигуры писателя и моделей его отношений с публикой в текстах того времени. По словам автора, до начала 2000-х гг. в литературоведении фигуры писателей рассматривались главным образом в связи с проблематикой авторского самосознания. Литература трактовалась как отражение некоего авторского «я», что вело к упрощенной логике дешифровки текстов посредством поиска отсылок к жизненному миру. Гелькер же считает важным обратить внимание не на преемственность литературного и биографического, а на их разрыв — на то, как происходит динамическое

взаимовлияние конструируемых образов и самосознаний, как самосознания могут приобретать черты типизированно-фикционального.

Как пишет Гелькер, считается, что в немецкой филологии литературным фигурам уделялось мало внимания, особенно по сравнению с важностью этой темы для англо-американских коллег. По мнению автора книги, это суждение не совсем справедливо: он напоминает об исследовании реального и фикционального в фигуре дантовской Беатриче у Э. Ауэрбаха¹⁶, об оценивании Г. Лукачем литературных произведений по степени правдоподобия фигур, способность к созданию которых свидетельствовала о подлинной творческой силе писателя. Иную трактовку фигур предлагал Э.М. Форстер в «Аспектах романа» (1927), противопоставляя реалистичность и убедительность: вторая не обязательно проистекает из первой. Отсюда, продолжает Гелькер, прямая дорога к (пост)структуралистским теориям фигуры, которая трактуется уже не как подобие, а как автономный знак, следующий анти-тетической диалектике, а не миметическим связям. Здесь Гелькер вспоминает о классификации персонажей волшебной сказки у В.Я. Проппа и о попытке А. Грей-маса перенести такую классификацию на более широкий круг текстов, что оказалось непросто. Если волшебные сказки оперируют достаточно типизированными

16 Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира / Пер. с нем. В.Г. Вдовина. М.: РОССПЭН, 2024.

фигурами, которые относительно легко подвергаются классификациям, то применительно к иным текстам подобный подход оборачивается произвольной схематизацией и выделением значимых признаков, в результате чего особенности конкретных литературных произведений стираются. (Пост)структуралистский подход критиковался и в том плане, что, хотя фигуры в литературном тексте и создаются как знаки, они отнюдь не обязательно воспринимаются в качестве таковых, и это оказывается особенно важно при смещении внимания литературоведов с эстетики производства на эстетику восприятия (рецептивную эстетику), на существование всякого текста в прочтениях¹⁷. Но кто же, спрашивает Гелькер, настолько наивен, что не осознает условности литературных персонажей, выполнения ими в нарративе определенных функций? По его мнению, так или иначе фигуры литературных персонажей всегда отсылают к другим фигурам — внутри данного текста или за его пределами — и должны пониматься интертекстуально.

Таким образом, пишет автор, необходимо сочетать миметический и семиотический подходы, и это во многом удастся современной когнитивистской теории фигур, восходящей к рецептивной эстетике В. Изера¹⁸. Фигуры не могут быть восприняты без минимальной общей отправной точки — возможности их соотнесения с уже известным читателю, с жизненным опытом, исходя из которого дополняется сказанное автором литературного текста. Гелькер отмечает, что применить такой подход к прошлым эпохам сложно: жизненный опыт людей тех времен для нас во многом утрачен. Да и в случае с современной литературой результаты могут быть спорными: читателю может быть важнее дополнение текста исходя из знания жанровых правил, а не из жизненного опыта, и четко отделить одно от другого не всегда возможно. Тем не менее именно исследование того, как в прошлые эпохи представлялись и моделировались в литературе взаимоотношения писателей и читателей, может способствовать пониманию существовавших возможностей чтения.

Считается, что в XVIII в. в литературе происходит переход от типовых фигур к индивидуальным, но Гелькер полагает, что это во многом ложная оппозиция, потому что литература не столько отображает индивидуальность, сколько вырабатывает типы того, что считается индивидуальным, а значит, важно понять, почему в определенный момент оказываются востребованы именно такие фигуры индивидуального или типичного. Для этого нужно обратиться к литературным теориям XVIII в.

Так, у И.К. Готшпеда сохранялся еще аристотелевский приоритет драматического действия, поэтому требовались целостные и относительно простые фигуры. Зато у К.Ф. фон Бланкенбурга в «Опыте о романе» (1772) выдвигается требование показать человека так, чтобы мы поняли, как именно он приобрел те или иные качества. Противоречия при этом — проблема не изображения, а изображаемого. Внутреннюю сторону жизни человека, считал Бланкенбург, можно показать прежде всего в романе, в то время как эпос больше пригоден для описания внешней стороны событий. Уже в 1763 г. в программном предисловии К.М. Виланда к роману «Агафон» (весьма ценимому Бланкенбургом) говорилось, что характеры взяты не из воображения автора, а из неисчерпаемых запасов природы. Автора интересовали индивидуальные особенности души и следующие из них возможности

17 См.: *Hochman B. Charakter in Literature*. Ithaca: Cornell University Press, 1985; *Jan-nidis F. Das Individuum und sein Jahrhundert. Eine Komponenten- und Funktionsanalyse des Begriffs «Bildung» am Beispiel von Goethes «Dichtung und Wahrheit»*. Tübingen: Niermeyer, 1996.

18 *Margolin U. Characters in Literary Narrative: Representation and Signification // Semiotica*. 1995. Vol. 106. № 3. P. 373–392.

поведения. Таким образом, жанр романа, имевший до тех пор морально сомнительную репутацию, мог теперь утверждать свою полезность. Именно он был способен показывать и исследовать настоящую жизнь человека в ее уникальности. В автобиографическом романе К.Ф. Морица «Антон Рейзер» (1785) в качестве важной и заслуживающей внимания показывается даже убогая жизнь несчастного забитого мальчика. Жан Поль в «Подготовительной школе эстетики» (1804) предлагал вовсе отказаться от прототипических фигур: важнее подлинная индивидуальность, какой бы неказистой она ни была, главное — чтобы она вызывала живую эмпатию.

Однако в последнее десятилетие XVIII в. романтики начинают оспаривать «сдавливающий корсет психологизма» (с. 102): против него выступает сначала Л. Тик в пьесе «Кот в сапогах» (1797) и в «Письмах о Шекспире» (1800), а затем и Ф. Шлегель в трагедии «Аларкос» (1802), где он пытается соединить современное и древнее в драматургии, так что фигуры утрачивают реалистичность. Лишены индивидуальности и персонажи сказок братьев Гримм, для которых подлинное — это не современная индивидуальность, а домодерная народная культура, когда человек существовал, еще не обособившись от других людей и от окружающего мира.

В веймарском театре 1800-х гг. «Аларкос» Шлегеля и «Эмилия Галотти» Лессинга шли почти одновременно, поэтому нельзя сказать, что в то время преобладала какая-то одна тенденция — к индивидуализации или типизации. Обращение к тому или другому приему во многом зависело от конкретного контекста появления литературного текста. Поэтому, прежде чем перейти собственно к фигурам писателей, Гелькер делает еще экскурс в социальную историю литературы, уделяя в нем особое внимание становлению полемической культуры и ее значению для конструирования писательских саморепрезентаций.

Конструирование писателем образа самого себя и своих собратьев по перу стало значимым в связи со становлением литературного рынка. Если в середине XVII в. частная библиотека представителя среднего класса в Бремене насчитывала около десяти томов, как правило содержащих религиозные наставления, то в XVIII в. появляются частные библиотеки с тысячами томов, и в основном это была беллетристика. Происходят изменения и в книготорговле: в ней преобладают уже не обменные, а денежные отношения, происходит рост отрасли и ее дифференциация. К концу XVIII в. утверждается авторское право, литературой начинают заниматься ради зарабатывания денег. Придворного поэта сменяет свободный писатель, и если верить справочнику Й.Г. Мейзеля, то к концу XVIII в. их в Германии насчитывалось около десяти тысяч. На деле заработка были небольшие, и даже любимцы публики вроде А.В. Иффланда или А. фон Коцебу не могли мечтать о французских или английских размерах гонораров. Тем ожесточеннее была борьба за расположение публики, теперь кошечком определявшей, что является хорошей литературой. Впрочем, и основные представители Просвещения считали наиболее важным суд широкой публики. Она начинает дифференцироваться по пристрастиям, и, чтобы мобилизовать своих сторонников, писатели делают все более воинственными. Агрессивность выступает и важнейшим способом индивидуализации, спасения своего имени от растворения среди тысяч других, придания ему узнаваемости на рынке. Но одновременно возникает также противопоставление гения и толпы: того, кто возносится над миром, воплощает в себе всеобщее, и тех, кто жалко следует своим частным интересам. Так, Гердер в статье о Шекспире 1773 г. рисовал образ писателя, одиноко восседающего на вершине скалы, у подножия которой суетятся те, кому недоступно величие его творчества. Гелькер делает вывод, что типизация и индивидуализация, разграничение общего и единичного и здесь во многом зависят от тактически конструируемых оппозиций.

Полемическое использование соотношения типического и индивидуального в репрезентациях писателей исследуется далее на целом ряде примеров, причем начинается Гелькер еще с XVII в. — с «Ученых женщин» (1672) Мольера, оказавших большое влияние на последующую немецкую традицию. В этой комедии изображен дурной поэт, который будит лестию самолюбие дам, чтобы добиться руки дочери одной из них. Так появляется тип бездарного писаки-интригана, который в начале XVIII в. встречается и в Германии. В комедии Л. Готшед (жены И.К. Готшед) «Пиетизм в кринолине» (1736), представляющей собой переложение анти-янсенистской комедии иезуита Г.-Г. Бужана «Одокторившаяся женщина», пиетистский святоша пытается устроить брак своего родственника, бездарного поэта, с девушкой из богатой кёнигсбергской семьи и использует для этого влияние на ее мать. Поэт здесь — довольно плоская и банальная фигура. Сюжет этот, однако, получает развитие в «Модных поэтах» (1756) К.Ф. Вейсе: здесь снова девушке хотят навязать не того жениха, какого она хочет, но теперь свой кандидат есть не только у матери (которая очарована плодовитым Многорифмовым), но и у отца (поклонника загадочного Темнова). Неудачливые женихи, борющиеся за обладание девушкой, воплощают собой противостояние основных литературных школ — Лейпцига (Готшед) и Цюриха (Бодмер, Брейтингер), но все же главное в комедии — высмеивание самих поэтов, которые односторонностью взглядов ясно демонстрируют свою никчемность. Как и у Готшед, они, вторгаясь в семью, разрушают ее порядок. Сочинение стихов — признак неразумия и неспособности к упорядоченной жизни. Поэтому бедные поэты, гоняющиеся за богатой невестой, заслужили все те несчастья, что выпадают на их долю. Впрочем, у Вейсе появляется и позитивный образ писателя: героиня комедии и ее настоящий жених цитируют стихи ученого естествоиспытателя, физиолога и анатома А. фон Галлера: соединение основательных знаний с мастерским владением словом выдает настоящую литературу.

Еще один вариант переработки Мольера — «Ученая женщина» (1775) К. фон Айренхофа. Здесь женщина одна, но зато писателей много: наряду с филологом и знатоком древностей Твориюм хозяйку осаждают пишущий на актуальные политические темы Тонкошут, театральные поэт Драмодел (пишущий в духе «Бури и натиска»), а также склонный к плагиату лирик Пустоветр. В гораздо большей степени, чем у Вейсе, здесь герои оказываются объектами осмеяния именно как поэты, а не просто негодные люди. Моральная сатира превращается в литературную. Айренхоф намеренно использует клишированные фигуры, чтобы применить их к конкретным литературным модам. Смехотворная фигура становится орудием в борьбе вокруг разных пониманий литературы.

Типизацию как поэтологический выпад против оппонентов, на этот раз романтиков, использует и И.Ф. Шинк в комедии «Писательница» (1810). Здесь журналист и литератор фон Лор оказывает большое влияние на хозяйку дома, которую стремится художественно развивать, заодно намереваясь жениться на ее племяннице. У нее, однако, есть свой возлюбленный по имени Феликс. Дилемма разрешается, когда наслушавшаяся фон Лора дама решает опубликовать собственную бездарную трагедию, что оборачивается позором. Спасая ее честь, Феликс признает автором себя, за что получает возможность жениться на возлюбленной. Женщина-автор оказывается как бы новой Ниобой, которая возгордилась своим сочинением и была наказана. В комедии то и дело подчеркивается, что она относится к своему сочинению как к ребенку, при этом она бездетна, то есть не выполнила того, что считалось подлинным предназначением женщины. Трагический образ Ниобы был важен и для многих реальных писателей-романтиков. В общем, Шинк стремится показать: не только все писательницы — сумасшедшие романтички, но и все романтики — многопишущие бабы.

В «Бедном поэте» (1812) А. фон Коцебу устоявшееся клише используется иначе, чем раньше. В этой одноактной пьесе поэт — добродушный, наивный и потому бедный Лоренц Киндлейн (то есть Дитятка). Его взяла жить в свой дом вдова Сюзанна, ведь поэт — не настоящий мужчина, его можно приютить без ущерба для репутации честной женщины. Сюзанна пытается получить с Киндлейна квартплату и с недоумением видит, как поэт, недавно продавший свое пальто, чтоб иметь хоть какие-то деньги, решает приютить у себя мальчика-нищего. Одновременно главного героя разыскивает неизвестная ему дочь Тереза, наследница богатых плантаций где-то в колониях, чтобы получить благословение для свадьбы. Она шокирована, когда видит жилье отца, но понимает, что дело в его доброте. Да и стихи он пишет вынужденно, ради хоть небольшого заработка. Комедия, таким образом, строится на переворачивании стереотипов: поэт бедный, но не жадный; он никому не навязывается, это к нему приходят то Сюзанна, то Тереза; он сочиняет, но поэтом быть не хочет и уж тем более не стремится к славе и успеху на литературном рынке. В итоге встреча с дочерью освобождает Киндлейна от навязанных стереотипов и от жалкой жизни литератора. Он становится просто добрым стариком-отцом для своей счастливой дочери и ее мужа.

На примере этих и многих других литературных текстов Гелькер показывает, как стереотипизация или отход от нее в разных контекстах выполняют полемическую функцию и как при этом утверждается определенный стереотип писателя, с которым вынуждены считаться последующие авторы.

В обеих рассмотренных книгах демонстрируются продуктивная роль вражды, ее специфические культурные формы, особая связь с эстетикой в целом и особенно с литературой. Отмечается, что конституирование буржуазной литературной публичной сферы происходило в полемическом самоотграничении от старых гегемониальных ученых практик, в особенности пиетистских и ортодоксально-лютеранских.

Можно отметить, что если во времена полемики Слотердайк и Хабермаса 1980-х гг. насильственность Просвещения представляла как некая непристойная, шокирующая изнанка, как невообразимая способность копаться в трупах с филантропической улыбкой, как жутко-дионисийское, проглядывающее из-под маски аполлонического, провоцирующее не желание диалога, а сильнейший протест¹⁹, то новейшие исследования, напротив, демонстрируют стремление к спокойному пониманию такого рода практик, к их нормализации путем соотнесения с контекстами, выявления внутренне присущей вражде логики. Таким образом, обсуждение насильственности Просвещения лишилось прежней антивоенной остроты и, более того, оказалось связано с обсуждением интересных альтернатив делиберативной демократии.

19 Позднее Слотердайк написал отдельную книгу о способности испытывать глубокое возмущение, о благородной гневливости как основе подлинно демократической политики: *Sloterdijk P. Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006.*